СТАРАЯ НЕМЕЦКАЯ СКАЗКА, ИЛИ ИГРА В ВОЙНУ

ИВАНОВ

АЛЬБЕРТ ИВАНОВ

АСТ
АСТРЕЛЬ

Альберт Анатольевич Иванов
Старая немецкая сказка, или Игра в войну (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=177466
Старая немецкая сказка, или Игра в войну: АСТ, Астрель; Москва; 2007
ISBN 978-5-17-044916-3, 978-5-271-17262-5

Аннотация

В этой книге помещены две повести: «Старая немецкая сказка, или Игра в войну» и «Февраль – дорожки кривые», а также рассказ «Глаза». Все они посвящены послевоенному детству, взросление подростков происходит трудно, непросто складываются их характеры. Главная мысль произведений такова: как бы ни было тяжело, надо найти в себе силы противостоять злу, не сломаться в жестких, а подчас и жестоких жизненных ситуациях.

Содержание

Выжить в трудное время… 4
Старая немецкая сказка, Или игра в войну 12
Какой отец лучше 12
В путь 14
Сало 15
Под лавкой 17
Берлин 20
Городок Н 24
Банк 29
Старлей 32
Роскошь, комфорт и уют 40
Наша компания 46
Сады и шляпы 49
Конец ознакомительного фрагмента. 55

Альберт Иванов
Старая немецкая сказка, или Игра в войну

Выжить в трудное время…

Чем старше человек, тем чаще и острее вспоминает он свое детство. Не исключение и Альберт Иванов. Впечатления школьных послевоенных лет, проведенных в Кашире, Германии, где он два года жил с родителями «в зоне советской оккупации», и Воронеже, оказались настолько сильными, что писателю хватило их на ряд рассказов и повестей. Большинству читателей Альберт Иванов известен как автор знаменитых сказок про Хому и Суслика. Даже не верится, что милые, веселые сказочные истории и другие, вовсе не сказочные, потрясающие резким реализмом рассказы и повести о мальчишках конца 40-х годов XX века, написал один и тот же человек.

Мастерства Альберту Иванову не занимать. Это в нем заложено от природы, сочинять он начал еще со школы. Затем учился на филологическом факультете Воронежского государственного университета, а потом – на сценарном факультете ВГИКа. Работал на Мосфильме редактором, пи-

сал сценарии для фильмов и книги: «Билет туда и обратно» (1976), «Настойчивая погода» (1985), «Февраль – дорожки кривые» (1988) и многие другие. Он автор более 100 книг, включая переиздания.

И вот перед вами новая книга писателя.

Читаешь ее, и возникает ощущение абсолютной достоверности! Однако сам Альберт Иванов не считает свою прозу автобиографической. Конечно, в ней множество конкретных деталей того времени – конца 40-х годов XX века. Память о послевоенном детстве отразилась как в зеркале в произведениях писателя. Быт, характеры и отношения людей, даже названия улиц – всё в них как в жизни. Но это художественная проза.

Книга «Старая немецкая сказка, или Игра в войну» захватывает с первых строк. Уже от первой представленной в ней повести, впервые напечатанной в журнале «Новый мир» в 2006 году, невозможно оторваться. Современным мальчишкам и девчонкам повезло: их мамы и папы не могли даже мечтать о такой повести, в советское время ее просто не пропустила бы цензура. Простодушный рассказ мальчишки, который вместе с отчимом-офицером оказался в побежденной Германии, потрясает той правдой, о которой тогда не принято было говорить. Герой из разрушенного и нищего родного города попадает в чудом уцелевший после войны аккуратный немецкий городок, словно бы в сказку братьев Гримм, недаром и повесть названа «Старая немецкая сказка»! Но

мальчишеская жизнь далека от безмятежной сказки. В ней царят свои жестокие законы. Война закончилась для отцов, а для сыновей она продолжается. И сколько всего придется пережить и перечувствовать герою-рассказчику: гордость за свою родину, ненависть и презрение к врачам, невольное уважение к противнику – гордому немецкому мальчишке Эрвину… Обстоятельства, в которых оказываются герои повестей Альберта Иванова, – тяжелы и драматичны. Но позиция автора неизменно четкая и всегда – нравственная. «Я позже понял, что можно бить кого-то, даже сильно бить, но унижать никого нельзя, просто недостойно».

Мальчишечьи игры – жестокие игры… Так было во все времена. В детстве идёт борьба за человечное в человеке. Кто-то держится до конца, а кто-то приспосабливается. Проблема нравственного выбора в книгах Альберта Иванова поставлена очень остро. И тем она острей, что речь в повестях и рассказах Иванова – о тяжелом времени. Со страниц его книг встает грозная правда жизни, та, перед которой руки опускаются. Неужели добро бессильно перед злом? И вот герою другой его повести, «Февраль – дорожки кривые», только и остается молиться доброй соседской собаке (какой сильный, щемящий момент!), потому что люди не могут ему помочь. Даже самый близкий человек, отец, предает героя! Мальчишка ждет от своего отца, что тот вот-вот сейчас защитит справедливость, но вместо этого слышит, как отец лебезит перед своим начальником – папашей его злейшего врага. И

много лет спустя уже взрослый герой, вспоминая тот эпизод, бросает страшные слова: «Мне хотелось хоть как-то оправдать отца, но всё равно – ненавидел его и ненавижу».

Герой судит своего отца, но в его горькой отповеди, рожденной отчаянием, – тяжелая, недетская правда – в горе взрослеют быстрее… Беспомощный совет отца: «Не связывайся» – вызывает у мальчишки ярый протест. «Не связывайся… Это был принцип всей его жизни, да и не только его. Не связывайся, не высовывайся, не вылезай, не замечай… Промолчи, уступи, поддайся. И вся мудрость – выжить любой ценой. Философия шкурника. Причем не того, кто снимает шкуру, а того, с кого снимают, – шкуроносца. Авось не всю снимут, не целиком – пронесет…»

Надо ли говорить об этом подросткам? Нужны ли вообще им сегодня такие книги? Очень уж это страшно, легче засесть перед теле– или киноэкраном, на котором царит бездумная голливудская поделка, тупое ржание и нет никаких проблем. Или бродить по радиоэфиру и ловить уже свою, русскоязычную пошлятину. Или засесть за компьютерную игру-«стрелялку». Или листать глянцевый журнальчик с гламурными красавицами и всемогущими олигархами и мечтать, что вот и я когда-нибудь… Стоп. Да разве сегодня нет того, о чем пишет Альберт Иванов? Что, перевелись Степанчиковы, расчетливые, хитрые, жестокие, для которых нет ничего лучше, чем причинять другим унижение и боль? Да никуда они не делись. Наше время породило их, бесстыжих,

безнравственных, бессердечных, еще больше, чем то, послевоенное, о котором пишет автор! И что теперь – сделать вид, что их нет? И старательно отворачиваться, не замечая, как унижают одноклассника или издеваются над соседом? Только надо помнить, что завтра жертвой Степанчикова можешь оказаться ты, и никакие виртуальные супермены из любимых твоих «стрелялок» и уж тем более никакие богачи тебе не помогут. А вот прочитанная вовремя умная, честная, пусть и суровая книга – поможет, подскажет, как выжить в трудный момент.

И ведь не придумал автор своих персонажей! Каждому не раз в жизни доведется встретиться с такими людьми – коварными, расчетливыми, лживыми. Читаешь описания мерзостей, которые придумывает подлый тип, и кулаки сжимаются. Вот уже переполнилась чаша терпения у главного героя, вот он почти осуществил свой отчаянный замысел сжить со свету своего мучителя, и мы солидарны с ним, – да-да! – мы уже готовы одобрить готовящееся убийство. Но герой наш взял и в последний момент пожалел своего палача. Зачем?! Ведь тот только мучает и унижает всех вокруг. И вот здесь-то и начинается самая настоящая философия. И мы вместе с автором оказываемся свидетелями неотвратимости промысла Господня или закономерной случайности – это уж кто во что верит… Повесть заканчивается неожиданно. Есть в мире высшая справедливость. Добро и правда в конце концов торжествуют – через страдания, утраты и боль… И нам, чи-

тателям, надо вынести эту боль сопереживания героям, чтобы прийти к такому финалу – жесткому, но справедливому и, несмотря ни на что, светлому. Ведь недаром еще великий Шекспир говорил, что добро переживает человека, а зло погребают вместе с ним…

В книгах Альберта Иванова нет нравоучений и назидательности. Он даже объяснений особых не дает, и читатель остается один на один с героями, с суровыми буднями их жизни. И учится думать.

Главная проблема многих произведений А.Иванова – что такое человеческое достоинство и как его сохранить? Что лучше: остаться верным своей совести, но погибнуть – или купить благополучие или даже жизнь ценой подлости и предательства? Тяжелые вопросы. А куда от них денешься? Жизнь такова, что в ней нередко гибнут не только взрослые, но и дети. Погибают мальчишки и в повестях А. Иванова. Не каждый писатель решается на такой поворот событий. Детская смерть невольно воспринимается как победа несправедливости. Но как быть писателю, если он решил до конца следовать жизненной правде? Промолчать об этом? Русская литература никогда не была стыдливо-слащавой. Гибнут дети в произведениях Ф.М. Достоевского, убит в бою Петя Ростов в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», погибает на баррикаде Гаврош в «Отверженных» В. Гюго…

Повести А. Иванова зовут на защиту правды и справедливости. А еще побуждают читателя задуматься о цене челове-

ческой жизни.

Небольшие по объему повести и рассказы А. Иванова дают гораздо более сильное и яркое представление о послевоенном времени, чем многотомные исторические фолианты. Можно прочесть сотни страниц воспоминаний и исследований о культе личности Сталина, о репрессиях, но всем сердцем почувствовать весь ужас миллионов разбитых человеческих судеб, прочитав завершающий этот сборник рассказ «Глаза» (в рукописи он назывался «Глаза Сталина»). Никуда не спрятаться от всевидящего ока «отца народов», губителя миллионов людей! Взгляд пронзает души, призывает людей – нет, не к добру и милосердию – к предательству ближнего своего.

И как на подвиг, идут на невольное предательство двое друзей, Витька и Юрка. Но с самого начала писатель настойчиво подчеркивает, что не были эти мальчишки злыми и подлыми. Резко отличались от большинства своих шпанистых сверстников: не любили жестокие забавы, зато любили добрые книги. Из хороших книг черпали идеалы дружбы, благородства, великодушия… И в конце трагической истории автор вновь напишет про них, что не были они злыми. Почему же ребята донесли на загадочного Никифора, прятавшегося в развалинах элеватора и ставшего их взрослым другом? Да потому что время такое было – беспощадное. Обстоятельства жизни были такие, что толкали людей на подлость.

Наши герои вроде бы не такие. Они же бессребреники, они доносят из высших побуждений. Но почему же тогда они прячутся, когда стражи порядка уводят их взрослого друга? Да потому что в них начинает, только еще начинает просыпаться совесть. Глубокая и страшная получилась у Альберта Иванова эта вещь.

Думай, читатель, учись на чужом горьком опыте.

Наталья Богатырева

Старая немецкая сказка, Или игра в войну

Какой отец лучше

Когда мне было десять лет, меня нередко спрашивали:

– Какой отец лучше, старый или новый?

– Новый, – отвечал я, что и ожидали от меня услышать.

Соседи были довольны моим ответом. Взрослым почему-то нравилось думать о людях плохо. Наверно, потому, что и сами хорошими не были.

Отец мой погиб в сорок первом, а мама вторично вышла замуж в сорок шестом.

– Новый обещал нас в Германию отвезти, – добавлял я для пущей убедительности, – голодуху переждать. Там всего полно.

А еще я так отвечал на эти дурацкие вопросы, потому что так чувствовал себя безопаснее, что ли, защищенней. Это я на всякий случай прикидывался совсем малолетним, более глупым, чем был на самом деле. А ведь я уже перешел в четвертый класс.

Теперь у меня был отчим – старлей, старший лейтенант. Он служил в СВА, в советской военной администрации в

Германии. Тогда наши войска назывались там оккупационными, и ничего плохого в этом названии мы не видели. Одно дело немцы – оккупанты, другое – мы.

Отчиму было тридцать три года, как и маме. Он, конечно, не был таким красивым, как мама, но выглядел ничего: по тем временам высокий – метр семьдесят пять. Блондинистый, серые глаза. Ну что еще? Разговорчивый, улыбчивый. Читал только детективы. Любил повторять: «Я голову до Берлина донес!»

А родного отца я не помнил. Мне было всего четыре года, когда началась война. Я вроде бы его и вспоминал иногда, но, вероятно, по рассказам мамы. Лучше не будем об этом. Ушло, как смыло, хотя что-то и грызло иногда пока еще малую память.

В путь

И вот мы поехали к старлею в Германию. Жуткую и таинственную. Старлей оформил и прислал все нужные бумаги на выезд семьи, мама побегала у нас в городе по разным учреждениям, и окончательное разрешение было получено. Кстати, я там и учиться буду, есть русская школа для детей военных.

Когда наш литерный поезд прогрохотал по железнодорожному мосту через Оку, я весело оглянулся на наш город. Вон моя школа, а вон – мамина школа, где она работала учителем истории. Нашего низкого дома, где осталась бабушка – мамина мать, не было видно. Выше всего вздымался давно заброшенный храм Богоявления, что был напротив горкома. Отсюда он казался беленьким, обустроенным, целехоньким и, красуясь, долго не пропадал из виду.

Затем – Москва. Потом – переезд границы с Польшей. Мимо, мимо, воспоминания!..

Сало

С нами в поезде ехало много военных, возвращающихся в Германию после побывки дома. Они дымили папиросами, громко говорили и хохотали. В нашем плацкартном вагоне были и другие жены с детьми, ехавшие к мужьям. Они сидели смирно и тихо одергивали своих ребят.

Поначалу я с любопытством глазел в окно на польскую заграницу. Но потом, устав, глядел уже равнодушно. Бедные поля, одинокие крестьяне с лошадьми и сохой, скромные домики. Тоскливое однообразие… Зато на остановках – а их было немало, даже просто в поле, – начиналась бешеная суета. Невесть откуда набегал крикливый торговый люд. Особенно много предлагали сала. Огромные оковалки, пласты, шматы толщиной чуть ли не с мельничный жернов. Торговцы, отпихивая друг друга, толпились у тамбуров и у каждого открытого окна. Брали они любые деньги: польские, советские, немецкие.

Вскоре появлялись полицейские – сельская полиция, как объяснил маме словоохотливый офицер – и разгоняли торгующих. Поляки нередко кидали сало прямо в окна и спешили за тронувшимся поездом, протягивая руки и рассчитывая что-то получить за свой товар. А то и просто избавлялись таким образом от сала, чтобы не арестовали за торговлю продуктами.

Помню, один наш дюжий сержант, держа на обеих руках, как поленья, до подбородка, ломти и пласты сала, которые ему насовали испуганные поляки, двигался под нашими окнами ко входу в вагон. А за ним семенил, хватая его за рукав, хлипкий полицейский. «Пан офицер! Пан офицер!..» – умолял он. Наш добытчик с трудом вертел шеей и отпихивался могучим локтем: «Сдать?.. Ты кому приказываешь? Я вашу Польшу освобождал!» Дружные руки своих уже на ходу втащили его в тамбур вместе с салом. «Во, сколько мне задарма навалили!» – хвастался он.

– У поляков с этим строго, – пояснял маме попутчик. – Лучше сбросить товар кому угодно, чем попасться за спекуляцию.

Запах сала закупорил весь вагон. Многие набрали. И много.

Да-а, столько еды я никогда не видел!

Под лавкой

Ночью в Польше постреливали. У окон никто не маячил, а в тамбурах курили, пряча огонек папиросы в ладони. Всем детям приказали лечь под лавки. Девчонки послушались, а мальчишки было заартачились. Но когда вдруг грохнуло в одно из окон и появилась дырка от пули, ребята дружно ринулись вниз. Мне попался сосед-одногодок, как потом узналось, он ехал в тот же немецкий город, что и я. Под зловещий свист ветра в оконной дырке мы утрамбовывали друг друга, стараясь забраться поглубже. Мальчишке удалось закрыться мною, зато мне было легче дышать, я остался с краю. Там, под лавкой, мы и познакомились. Его звали – Витька.

Между прочим, когда мы наконец оказались в Германии и нам велели вылезать и ехать спокойно, мы все дружно отказались. Если уж в Польше стреляют, считали мы, то в Германии и подавно. Военные смеялись над нами, уверяя, что немцы – народ послушный: раз капитулировали, значит, теперь все, порядок. Мы не верили. Мы боялись немецких партизан, которых не было. И нас оставили в покое. Иногда мы, конечно, вылезали на свет Божий, но потом снова прятались в обжитом месте.

Помнится, когда мы стояли утром еще на границе Польши с Германией, я выглянул в окно. Там, прямо за соседними путями, ведущими обратно, домой, я увидел что-то стран-

ное. Несколько человек в тупике перрона возились с какими-то ружьями: доносился въедливый скрип сверла. Ружья были удивительные – трехствольные.

– Третий ствол дырявят, нарезной, – пояснил словоохотливый попутчик маме, видать, она ему понравилась. – Ружье-то охотничье, два ствола – гладкоствольные, а третий, под ними, на крупную дичь. Его просверливают, чтобы нельзя было из него стрелять, иначе в Союз не пропустят.

Ну, на Германию мы все выбрались посмотреть. Первый же город не особо запомнился. Серые улицы, медные купола башен с зелеными потеками, чахлые огородики.

Мы ехали по Германии, и все напоминало о войне. И воронки от бомб, и облезлые дома с чумазой разбитой черепицей, и железнодорожные станции с пробоинами в навесах над перронами. Дежурные на станциях зычно кричали: «Абфарен!» – отправление. На дорогах – наши военные регулировщики, машины-полуторки, легковые «виллисы» и огромные «студебеккеры».

И все-таки их сельская местность резко отличалась от нашей, нигде не было убогих глинобитных домов под соломенными крышами, вросших в землю. Повсюду виднелись шоссе, а не разбитые проселки. Еще до́ма мы слышали от солдат и не верили, что дороги в Германии обсажены фруктовыми деревьями и никто не трогает ни груш, ни яблок, ни вишен. «Такого и быть не может! – считали мальчишки. – Здорово врут!»

А тут мы с Витькой увидели все сами.

– А почему никто яблоки не рвет? – спросил я у нашего разговорчивого попутчика.

– Запрещено, – коротко ответил он.

Это меня не убедило. Мало ли что запрещено!

Теперь, оглядываясь назад, понимаю, что многое вокруг я тогда увидел по-взрослому. Чем дальше из России на запад, тем богаче становился вид деревень и городов, несмотря на развалины. Русские села, украинские, польские, немецкие… Даже уцелевшие украинские хаты выглядели лучше российских халуп. Про Германию и говорить не приходится, хотя и по ней прокатилась война. И невольно мелькала мысль: «Вон как у них! И ружья охотничьи – трехствольные. Чего ж они к нам полезли – в нашу бедность?» И разгоралась ненависть.

Но я чувствовал не только это, сердце колотилось, глаза мигали и слезились от ветра и паровозного дыма – навстречу летела Германия, далекая когда-то страна, страна братьев Гримм. Ах, как я любил их сказки и зачитывался ими. Неужели я теперь здесь? Надо же, как меня угораздило!

Берлин

В Берлине нас встретила машина «опель-капитан» с военным шофером и каким-то молодым штатским. Как сейчас помню, звали его – Володька. Так он нам по-свойски назвался, он был переводчиком из комендатуры. Нас должны были доставить к отчиму. Невелик у него чин, однако же!..

Вот уж чего забыть невозможно. Такое, уж точно, можно увидеть раз в жизни – послевоенный Берлин! Мы проехали его насквозь до загородного шоссе – автобана. Возможно, шофер-сержант нарочно повез так, чтобы и мы смогли полюбоваться на поверженное чудовище.

Переводчик Володька, как и я, восхищался увиденным:

– Весь город – восемьсот девяносто квадратных километров! – вдребезги разнесло.

– Еще бы, – усмехался шофер. – Два с половиной миллиона наших солдат бились и миллион немецких, да с такой боевой техникой. Удивительно, что хоть что-то осталось!

Одни только мостовые, причем очень аккуратно, были расчищены от завалов. Ни камешка. А за свободными тротуарами по обеим сторонам буквально всех улиц громоздились до неба развалины, груды кирпича и железа. И не было тем гигантским берлинским развалинам ни конца ни края. Квартал за кварталом, квадрат за квадратом, и повсюду высоченные «пирамиды Хеопса» из битых кирпичей и скру-

ченных железных балок. Среди идеально расчищенных мостовых это выглядело особенно невероятно. Берлин напоминал невиданную исполинскую свалку с идеально очерченными площадками, куда свезли строительные отходы со всего света.

А если вглядываться, то эти нереальные искореженные, перекрученные балки, свисающие глыбы бетона на прутьях арматуры, разбитые лестничные марши – все порою казалось кладбищем каких-то чудовищ с тысячами растопыренных когтистых лап, обступивших тебя со всех сторон и странно остановленных голыми мостовыми. А то и чудилось, что все это – застывшие на миг каменные взрывы, взлетевшие ввысь и готовые вот-вот обрушиться. Впрочем, иногда уже и слышался стук сорвавшегося с высоты камня. Наверно, потому повсюду вдоль дорог стояли таблички, очевидно, с запрещающими надписями, как в бескрайнем музее: «Запрещено…», «Опасно» или «Руками не трогать». Кое-где на улицах еще копошились жители, доводя мостовые до первозданного совершенства.

Мы потеряли дар речи. Сердце у меня в груди прыгало от свирепой радости.

– Да вы посмотрите, – вдруг разбил тишину голос шофера, – тротуары у них из гранитных плит. Сволочи!

Тротуары и правда были из красных гранитных плит.

– Всех немцев надо убить, всех, всех! – не выдержал я. – Всех до одного, гадов!

– Правильно, всех! – горячо поддержал Володька, родная душа.

И меня понесло. Наверно, своего рода истерика – губы выбрасывали то, что накопилось в душе за годы войны. Словно лопнул тот безмерный ком из бомбежек, голода и похоронок. Захлебываясь словами, я уничтожал всех немцев до единого. А рубаха-парень Володька соглашался со мною во всем. Под конец он даже сказал что-то вроде:

– Немецкий народ не имеет права жить.

Потом, уже при встрече с отчимом, я узнал, что переводчик – немец Вольдемар. И мне мгновенно стало стыдно и страшно. Стыдно потому, что я так неистово распинался перед немцем. И страшно оттого, как ловко умеют немцы притворяться.

Лет через десять мне, студенту-первокурснику, довелось вновь побывать в Германии, точнее, уже в ГДР. Но и тогда в Берлине все еще встречались развалины, словно памятники русской ненависти к врагу. Возле главной улицы Унтер ден Линден высился, зияя проломами от снарядов, кафедральный собор. Внутри царило запустение, пахло старой известкой, и было не по себе, как обычно в полуразрушенных церквах. На одной из стен среди многих непонятных мне надписей на немецком языке, наверно о том, что здесь побывал какой-то глупый Ганс, выделялась одна, на русском, без запятых, высеченная явно штыком: «Так вам сукам и надо».

– Я донес свою голову до Берлина! – любил повторять

мой отчим-старлей. А другие двести тысяч солдат тоже донесли свои головы до Берлина и сложили их там.

Городок Н

Сейчас многие плохо разбираются в истории. Тогда, когда я приехал в 1946 году, Германия была именно Германией. ГДР еще не было, она возникла только в 1949 году. Но это к слову.

«Городок в табакерке» – такое ощущение осталось у меня от старинного города Н., где мы жили. Тысяч двадцать населения – самое большее. И никаких разрушений. Подобных мест, не затронутых войной, много осталось в Тюрингии и Саксонии. Там не было военных объектов, и ни наши, ни союзники не стали попусту тратить бомбы.

На пряжках немецких солдат было выбито: «God mit uns», что означало: «С нами Бог». Но человеколюбивый Бог справедливо покинул их во время войны, однако никогда не отворачивался от таких милых старых немецких городков. Наш – заметьте, наш – был настолько чудесен, что до сих пор, более полувека, снится мне порою. Это я говорю, несмотря на былую ненависть к немцам. В нем было все, что полагается сказочно прекрасному старому городу: и полуразрушенная от времени крепость, местами затянутая вьющимся виноградом, и причудливый замок, и старинные фахверковые дома с орнаментами каркасных балок по фасаду, и крутые черепичные крыши, и брусчатые узкие улочки, и каменные аркады первых этажей на главной площади, и башни трех го-

родских ворот, и готический мост, и чистая река шириной в негромкий крик, с разбегающимися кругами от форелей – форелей, не плотвы! – и древние пивные, разрисованные снаружи сценками из хмельной жизни во всю оштукатуренную стену, и даже внушительный кинотеатр с большими рекламными витринами. Улочки с уютными особняками, кирхи с флюгерами на шпилях, герань на подоконниках, медные колокольчики на дверях магазинов, высокие каштаны, ухоженные сады с яблонями, грушами, черешнями – черешнями, а не вишнями! И везде чистота. Чистейшие улицы и чистейшие окна. По-моему, окна мыли чуть ли не каждую неделю. Такой вот необычный городок – почти из сказок братьев Гримм.

Ну а послевоенной бедности и жалкого вида немцев мы не замечали. Мы были победителями.

Наша семья поначалу занимала двухкомнатный номер в гостинице «Ротер гирш» – «Красный олень». В гостинице размещалась военная комендатура, и верхний, четвертый, этаж был отведен офицерам – не всем – под жилье. Сохранился и ресторан, в нем столовались военные. Для многих это было удобно. Достаточно спуститься – и ты на работе. Можно вообще не выходить из дома. Но отчим редко бывал на месте, он занимался репарациями и часто ездил с тем самым переводчиком по окрестностям на разные предприятия, которые подлежали вывозу к нам как возмещение ущерба от Германии. Иногда он брал меня с собой. Но я забегаю

вперед…

Я уже говорил, что война обошла город стороной. Здесь не было разрушений. А ведь я, собственно, и не видал целых городов. Война началась, когда мне было четыре года. И годам к пяти, как мне помнится, все у нас вокруг было сильно разбито. Многие жили в подвалах и землянках. А тут я вдруг перенесся в сказочный средневековый городок. По-моему, ему было чуть ли не восемьсот лет. Во всяком случае, он мало чем отличался по облику от такого города, как Арнштадт, в котором я побывал потом студентом. Тому, достоверно известно, тысяча лет.

В Н. стояла небольшая воинская часть. Казармы привычно окружал зеленый дощатый забор. Там был и открытый бассейн с «лягушатником», в нем я вскоре научился плавать.

По вечерам из громкоговорителя, установленного на балконе комендатуры, неслись с пластинок на весь город песни Клавдии Шульженко. «Так-так-так! – говорит пулеметчик. Так-так-так! – говорит пулемет». Этот славный пулемет не давал заснуть, здесь рано ложились спать. Все важные объявления и распоряжения тоже передавались через громкоговоритель, но уже с машины, разъезжавшей по городу: «Ахтунг! Ахтунг!..»

В самом центре городка была вымощенная плитами площадь, ее обступали старинные дома с аркадами первых этажей. Отчим рассказал, что раньше здесь, посредине площади, высился какой-то монументальный фашистский обе-

лиск. Наши подогнали два танка, закрепили на нем тросы, и танки начали тянуть в разные стороны. Но так как они расположились на одной линии, обелиск отказывался падать, напор одного танка прочно сдерживал другой. В конце концов разобрались и памятник свалили.

Интересна была и послевоенная история городка. Его заняли американцы, но отдали нам его после раздела Берлина на зоны: советскую, американскую, английскую и французскую. Мы не даром тогда уступили западную часть Берлина союзникам: за это нам отошли другие части Германии, занятые союзными войсками.

Передача города произошла очень просто. Американцы привезли кучу ключей: от мэрии, различных складов, бензоколонок, предприятий и сдали их нашим военным. Взвесили при всех на весах. Плиз! Столько-то килограммов ключей сдано, столько-то принято. Распишитесь. А теперь, мол, разбирайтесь сами. Они даже не удосужились показать, к каким замкам подходят ключи. Гуд бай! Весело помахали и укатили, шалопуты, на «виллисе».

И пришлось-таки разбираться. Военный комендант полковник Боровиков – отец нашего будущего вожака Леонида – решил сделать хорошее для бойцов. Многие отбывали домой. А где взять гостинцы для родных? И пока все не было принято по описи, отдал солдатам на ночь как трофей большой склад шерстяных тканей.

– Видели бы вы, – рассказывал нам с мамой старлей, –

как из окон склада летели с этажей на улицу штуки материй. Бум-бум о мостовую, так что стекла вокруг дрожали! Разбирай, ребята!

Смех смехом, но одного старшину на улице прибило насмерть отрезом шевиота, скинутым с верхнего этажа.

– Вот так, – жестко закончил свой рассказ отчим. – Лес рубят – щепки летят. Зато хоть что-то люди домой увезли.

Это понятно. Дома все стоило чрезвычайно дорого, в обносках ходили. Много война отняла и много хорошего проявила. Более добрых людей, чем во время войны, я не видел. Побирушки в двери стучались, просили: «Подайте хлебушка». Не денег, нет, только хлеба. И ведь подавали им что-то, а получали-то его по карточкам. А малые и старые только иждивенческие карточки имели. Разве что воробью на них хлеба от пуза!..

Немецкая обслуга в отеле «Ротер гирш», где мы жили, почему-то благоговела перед моим отчимом. Я невольно заметил, что к нему они относятся почтительнее, чем к самому коменданту Боровикову. А мама и подавно это заметила.

– Чего они перед тобой лебезят? – однажды впрямую спросила она.

– За мои прежние чаевые, – довольно усмехнулся отчим. Мало сказать «довольно», он расплылся, будто повидлом губы помазали.

И рассказал нам простую, но удивительную историю.

Банк

Мы удобно устроились в мягких креслах, и отчим начал:

– За месяц до штурма Берлина я ночевал с ординарцем Мишей в банке.

– Где? – удивилась мама.

– В каком-то немецком банке. Он был здорово разбит при наступлении, все полы были усыпаны рейхсмарками…

– А золота не было? – затаил я дыхание.

– Не было, – огорченно ответил он.

Мама звонко расхохоталась. Она была очень честная и принципиальная. Однажды были мы с отчимом на охоте, дома еще. Он случайно подстрелил колхозного гуся, и мы не случайно принесли его домой. Гордо признались по глупости. А разгневанная мама заставила нас его выбросить. Мы ушли с ним и, конечно, не выбросили, а отдали соседу.

– Ну, нагребли целый ворох денег под бока, чтобы помягче было, так и проспали всю ночь, – продолжил отчим. – А утром вдруг меня осенило. Я подумал: скоро война кончится, какие-то деньги должны ходить, верно? Пока введут новые или что-то другое придумают, эти марки будут повсюду брать.

Он приказал ординарцу набить вещмешок деньгами. И брать только тысячемарковые купюры, чтобы больше влезло. Что и было сделано.

Так старлей стал миллионером. Кончилась война, и он загулял на славу. Носил шелковое белье и выкидывал потом в окно после бани, а немцы быстренько подбирали. Обедал он с боевыми друзьями-товарищами только в уцелевших ресторанах. И однажды оплатил даже празднование 7 Ноября для всей комендатуры в гостинице «Ротер гирш». Это были огромные деньги, хотя они и шли по 10 марок за советский рубль. Тут даже большого жалованья не хватит. Чтобы представить себе, какие у него были деньги, он привел один случай. Как-то он постригся в парикмахерской и дал хозяину тысячемарковую банкноту. У того не оказалось сдачи, вся его небольшая парикмахерская столько стоила.

– Сдачи не надо, – великодушно сказал новоявленный богач.

Так хозяин за ним два квартала бежал, стряхивая с его гимнастерки невидимые волоски.

Ну, понятно, отчим замечательно приоделся. Пошил себе три дорогих костюма, кожаное пальто, для мамы кое-что прикупил…

Тут мама поджала губы, и он поспешно сказал, причем видно было, тоже правду:

– А в прошлом году я приехал от вас из отпуска, заглянул за диван, где деньги держал в чемоданчике, а его нет. Побежал Мишу искать, а он уже демобилизовался. Вот и все, – развел руками отчим.

– Эх! – сокрушенно стукнул я себе кулаком по колену. –

Надо было в комиссионках или с рук всякие золотые кольца и драгоценные камни покупать, – заявил я, деловой такой человек.

– Не догадался, – виновато ответил он мне, словно мелкий конторщик банкиру, и привычно повторил: – Главное, я голову до Берлина донес!

Старлей

Старлею можно было верить. Он был простой человек, без особых загибов. Но я это понял не сразу. Одно время даже считал его чуть ли не шпионом, потому что не мог понять, почему у него нет никаких родных. У нас вот по всей стране жили близкие и дальние родственники: двоюродные, троюродные и еще Бог знает какие. В Союзе нам нередко присылали поздравления к праздникам. А он, видишь ли, никого из родных не имеет. Мол, кто погиб, кто пропал – война. Но мы ведь тоже не на Луне жили. Наверняка скрывает что-то.

Потом мне стало все равно. Мысли, они ведь то набегают, то исчезают. А в моем возрасте они у меня долго не задерживались. В детстве одним днем живешь, потому и кажется детство таким долгим. Что ни день – новая жизнь. Так бы жить всегда!..

У старлея было свое чувство юмора, можно сказать, панибратское. Шли мы как-то с ним по коридору в квартире, куда вскоре переехали из гостиницы. И он неожиданно втолкнул меня в свою темную фотолабораторию и запер дверь. Боже, какой ужас я испытал! Кто-то, яростно шипя, набросился на меня и стал кусать мне руки и ноги! Я заорал и ощупью влез на стол. А этот невидимый свирепо носился вокруг внизу.

Вспыхнул свет, и, хохоча, вошел старлей. Оказалось, на меня напал здоровенный гусак, которого ему подарили в ко-

мендатуре. Уж как возмущалась мама, а старлей только хохотал: «Ну пощипали мальца немного! Я ведь по-дружески!» Пощипали… Гусак кусался, как зверь. Синяки остались. Я же не Дубровский, который в подобном случае, только с медведем, в упор его застрелил. У меня оружия не было, да я и не знал, кто на меня напал в темноте. Удружил старлей!

В Германии старлей полюбил охотиться. Сначала он завел себе два изумительных охотничьих ружья, не помню точно, будучи миллионером или позже. Он специально ездил в город Золинген, знаменитый своими стальными изделиями: от опасных бритв с «двумя человечками» до охотничьих ружей «Зауэр». Там он выбрал в альбоме и заказал себе два ружья 16-го калибра, копии тех, что в свое время изготовили для страстного охотника Геринга. Эти ружья с воронеными, голубоватыми крупповскими стволами и прикладом из какого-то особенного дерева, украшенным резьбой и серебряными пластинами со сценами охоты, приводили всех в восторг. Один ствол в ружье был «чок», другой – «получок», что влияет на кучность дроби при стрельбе. И что удобно: автоматический выброс стреляных гильз.

Он завел себе патронташ и ягдташ из коричневой кожи. Разве что охотничьего рожка у него не было, а может, и был, не помню. Еще он заимел охотничьи, тоже коричневой кожи, ботфорты, пропитанные водонепроницаемым составом.

Ботфорты отчима вызывали у меня искреннюю зависть. Такие, вероятно, носили королевские мушкетеры. Я был за-

ядлым книгочеем, и дома, в Союзе, знакомый мальчишка дал мне почитать «Трех мушкетеров» – на одни сутки, за три рубля. Видимо, по рублю за каждого мушкетера. И я таки успел – наверно, уже под конец по диагонали прочитывая страницы.

Не понимаю, что происходит сейчас, в 2006 году. Крестник моей жены, обычный десятилетний мальчишка, плохо читает, очень медленно и запинаясь. И я повадился постоянно спрашивать его при встрече: «Читаешь? Читаешь?» Недавно он звонил нам по телефону с какой-то просьбой, и я привычно спросил: «Читаешь?», на что он обиженно заявил, что вчера был с классом в походе, очень устал и теперь отдыхает. «Ну, отдыхай с интересной книжкой», – посоветовал я ему. В ответ было тягостное молчание. Ему явно не хотелось грубо отвечать недоумку взрослому, что любое чтение – тяжкая работа, а не отдых. Скажут тоже!..

Любопытна судьба этих ружей. Одно, по-моему, в 1948 году, когда мы вернулись в Союз, обменяли на десять мешков картошки, а другое досталось мне после кончины отчима. Но я подарил его племяннику, сыну своей сестры, родившейся в Германии. Во-первых, потому, что охотиться так и не полюбил, хотя отчим брал меня в России на охоту. А во-вторых, грянула перестройка, и я просто боялся кого-нибудь в ярости пристрелить, потому и отдал ружье от греха подальше.

Но вернемся к старлею. У них сбилась компания охотни-

ков из комендатуры, и они каждую ночь повадились ездить на охоту. Зайцев тогда в Германии развелось множество, возможно, и раньше было много, потому что и во время войны, и после немцам было запрещено иметь любое оружие. И вот наши охотники в открытом «виллисе» гоняли по лугам и полям с включенными фарами, от которых зайцы просто гипнотически столбенели, и наперебой палили на всю немецкую ивановскую. Было даже, они вернулись в город с зайцем, сидящим на капоте. Очумелый от страха, он как вскочил туда, так и не спрыгнул.

Мы каждый день ели тушеную зайчатину. Сладкое заячье мясо настолько надоело мне, что до сих пор меня передергивает даже от запаха тушеного кролика. Мы с мамой не меньше года ели зайцев, пока не взбунтовались.

Правда, одно время отчим переключился на косуль. Недалеко от города в лесу были охотничьи угодья со специальными вышками вроде пограничных. Стрелять надо было «жаканами» – пулями, а не дробью. Однажды он, вернувшись с охоты, клялся, что попал в косулю, но она подпрыгнула и удрала. А на другое воскресенье он вдруг нашел ее по жуткому запаху за теми самыми кустами, что она из последних сил перепрыгнула. После этого старлей перестал на них охотиться. Между прочим, у многих зажиточных горожан, у которых мне довелось с ним побывать, на стенах висели гладкие, будто муляжи, черепа оленей, ланей, косуль с рогами и рожками – прежние трофеи владельцев. И мне почему-то вспо-

минались скальпы врагов, добытых краснокожими, в романах Фенимора Купера.

Почти чеховскую историю рассказал нам как-то отчим. Случилось целой группе наших охотников-офицеров во главе с генералом охотиться на небольшом курортном озере. Ничего они, как ни странно, не добыли, и тут над озером появился одинокий лебедь. Поднялась такая круговая пальба от рассредоточенных по берегам стрелков, что он и улететь не мог, метался туда-сюда в испуге, но довольно высоко, недосягаемо для дроби. И внезапно кто-то метким выстрелом снес ему голову. Все дружно закричали: «Это генерал! Генерал стрелял!», хотя лебединую шею будто ножом срезало явно винтовочной пулей. Кто-то из солдат генеральской охраны постарался, у офицеров были охотничьи ружья.

– Видели бы вы, как потом важно выступал впереди всех генерал, – смеялся отчим, – а за ним несли на носилках безголового лебедя!

…Так вот, в конце концов мы отказались есть зайцев, и отчим, вздохнув, сказал мне, шутливо подделываясь под просторечие:

– А курей и утей ты любишь?

– Ага, – сразу согласился я.

– А чего больше?

– Утей, – ответил я, так как никогда не ел уток.

– Тогда поехали, – предложил он.

По пути за город по автобану на машине – у нас был

«опель» – он странно заметил:

– Кур нам не взять, только чудом. Уж больно прыткие!

Возле ближней к городу деревни мы остановились. Вниз с пригорка вел аккуратный брусчатый съезд, переходящий затем в гауптштрассе – главную сельскую улицу, с прудиком у обочины, курами и утками, бродившими вдоль и поперек мостовой.

Тогда я второй раз в жизни услышал слово «рекогносцировка». Впервые я встретился с ним в книге Дюма «Двадцать лет спустя», так называлась одна из глав. Это боевое слово означает предварительное обследование местности, где предстоят военные действия.

– Рекогносцировка благоприятная. Вперед! – бодро скомандовал отчим, и машина ринулась вниз.

Тут только я осознал, что мы не взяли из дома ружье.

– Запомни, – на ходу сказал отчим, – птицу крестьяне не продают вообще. Кур, наверно, из-за яиц, а уток – черт их знает почему! А уж тем более советским оккупантам, – иронически ухмыльнулся он.

Меня чуть ли не трясло от волнения, от азарта, кинувшегося в голову. Не забывайте, то были немецкие куры и утки.

Не сбавляя скорости и давя все живое птичье, мы промчались по гауптштрассе с индейским кличем, который издавал я во всю мочь. Я был тогда помешан на индейцах. Кстати, мне казалось, что и вся Германия тогда на них помешалась. Из игрушек повсюду продавались только свинцовые раскра-

шенные индейцы с томагавками и луками, вигвамы и пирóги. Их, видать, кустарно отливали в специальных формах. Самым популярным писателем у немецких ребят был Карл Май, написавший десятки романов про индейцев. Жаль, тогда у нас его не печатали. Мы знали только Фенимора Купера да еще Густава Эмара по дореволюционным книгам.

Отчим тоже издал победный клич. Недаром у него была медаль «За отвагу». В конце улицы мы развернулись и медленно поехали назад. А там к погибшим птицам уже сбегались, негодуя, всполошенные фрау. Они и сами напоминали птиц, кудахтая что-то на немецком и взмахивая руками, словно крыльями.

Когда старлей вылез из машины, они обступили его, держа за шеи убиенных птиц, и возмущенно загомонили: «Герр офицер! Герр офицер!..» Попробовали бы так возмущаться в подобном случае наши крестьяне при немецкой оккупации!..

Отчим плохо знал немецкий, но, очевидно, как бывший миллионер, великолепно знал силу денег. «Деньги – самое мощное оружие», – говаривал он. Он быстро все уладил. Заплатил каждой фрау столько, сколько она потребовала. А поскольку это были вымуштрованные немецкие женщины, склонные к порядку, лишнего они не запрашивали и называли нормальную, по их понятиям, рыночную стоимость. Но… Потом, не выпуская из рук своих упитанных уток – с курами, как и предсказывал отчим, нам не повезло, – они хотели разойтись по домам. Но тут уж герр офицер твердо заявил,

что утки принадлежат ему. Он за них заплатил? Заплатил. Старлей забрал свою добычу из разжавшихся когтистых рук и покидал в багажник.

Мы покатили прочь, а остолбенелые фрау смотрели нам вслед, смутно понимая, что произошло нечто, недоступное их слабому уму.

Попутно замечу, что никакой жестокости наших военных за два года в Германии я не видел. Никого не расстреливали, не пытали, не били. И сравнивать тут нечего с тем, как вели себя немцы у нас. Другое дело – во время военных действий. Один случай, рассказанный старлеем, поразил меня. В 1941 году наша разведка захватила в плен немецкого танкиста. На допросе он нагло заявил: не желаю, мол, разговаривать с трупами. Будущими, понятно. Настолько он был уверен в своем превосходстве и в германской победе. Тут уж терпение у наших лопнуло, его выволокли из блиндажа, прострелили ему очередью ноги и оставили подыхать в снегу на морозе. Ну кто теперь, дескать, труп? Будущий, понятно.

Роскошь, комфорт и уют

Так рекламируют сегодня отели в Германии. Но могу честно сказать, что мы никогда и нигде не жили так прекрасно, как в то время. Мы переехали из гостиницы-комендатуры в зеленый район двухэтажных особняков. В доме, где нас разместили, была еще одна русская семья. Нам достался весь второй этаж. А в мансарде под черепичной крышей обитала прислуга: горничные и поварихи, по паре на жилой этаж.

Раньше в этом доме господствовала дама, которую все называли – Фрагелька. Куда ее отселили, не знаю. Но иногда она приходила и придирчиво проверяла, все ли в доме на месте. Даже в саду она появлялась сразу, как только поспевала черешня, и, взяв высокую стремянку, обирала все ягодки. Так что мне приходилось загодя есть не совсем еще зрелую. Ах, черешня! У нас, в Союзе, она росла лишь где-то на юге. Я попробовал ее здесь впервые, как, впрочем, и большие желтые груши.

Муж Фрагельки, какой-то военный чин, то ли погиб на войне, то ли попал в западную зону. Во всяком случае, у его фрау сохранились начальственные замашки. Ее даже старлей избегал, она была вечно недовольна, настойчива и крикliва, пока ее не обломала моя мама, строго указав ей на дверь:

– Тут вам не при Гитлере!

Фрагелька сразу заткнулась, поняв «по-русски» одно лишь слово «Гитлер», и проворно убралась прочь. Однако сохранила свое право на плоды черешни и груши во дворе.

Правда, она как-то вновь раскричалась, когда увидела свои пострадавшие лестничные перила: я отхватил от них порядочную щепку старлеевской бритвой «Золинген». Так что мне влетело и от одной, и от другого. Но я не считал себя перед ней виноватым за эти перила. Подумаешь! Мы и дома, и в школе у себя в Союзе резали все перила, какие попадались под руку. А уж перед немецкими никак не мог устоять. Ну а старлей, понятно, рассердился справедливо: я выщербил бритву, и ему пришлось стачивать лезвие чуть ли не на полсантиметра. Обычно он правил ее на ремне, и мне было неизъяснимо интересно проверить, насколько она остра. Это сродни тому чувству, когда вдруг неудержимо хочется прыгнуть в воду с моста, хотя и не знаешь, чем это кончится. Дурь!

Я уже говорил, что, став студентом, ездил с туристами в ГДР. Мне повезло, я сумел побывать в этом городе и даже пива испил в той самой гостинице, где когда-то размещалась комендатура. Зашел я и в дом, где мы ранее жили на втором этаже. Я хотел заглянуть в нашу бывшую квартиру, но новый хозяин не разрешил. Слово за слово, я машинально упомянул о Фрагельке, на что тот сказал, что фрау Гелька живет теперь в Западной Германии. Только тогда я понял, что прозвище «Фрагелька» состоит из двух слов.

Наш молодой гид, который был со мною – я рассказал ему о поврежденных перилах, – показал ту выщербину недоверчивому хозяину как доказательство, что я действительно здесь раньше жил. После этого хозяин так распалился из-за моего десятилетней давности проступка, что нам пришлось поспешно уйти. Я завернул по пути во двор – в маленьком садике черешня была на месте. А еще я увидел и сразу вспомнил плоскую железную собаку, таксу-скребок, о который счищали грязь с обуви у черного входа. И так вдруг тоскливо стало…

Возвращаясь к нашему давнему роскошному житью, похвалюсь: у нас было пять комнат, не считая ванной и кухни. Ну, ванной у нас потом в России долго не было, в баню ходили. Итак, гостиная-столовая, спальня родителей, моя комната – у меня ее тоже до тридцати лет не было, – кабинет старлея, фотолаборатория. Отчим любил фотографировать, у него было два аппарата: «лейка» и «контакс». На вывезенном немецком оборудовании – из других мест – у нас и стали затем выпускать новый «ФЭД» («лейку») и «Киев» («контакс»). В лабораторию отчим превратил одну из комнат, плотно завесив окно темной тканью, и, как средневековый алхимик, колдовал там с автоматическим увеличителем, снабженным часами, и ванночками с проявителем и закрепителем при таинственном красном свете. Там еще стояли солидный резак для обрезки фотографий и зеркальный валик – глянцеватель снимков.

У меня – можете себе представить! – был свой письменный стол с зеленой настольной лампой. Но главное – главное! – в нашей гостиной с ее лакированным обеденным столом, тяжелыми шкафами с книгами в кожаных переплетах, с буфетом, где хранилась мейсенская посуда, находился электрокамин со стеклянными поленьями. В них притаились лампочки, и, когда камин включали, казалось, поленья горят как настоящие. Вот только дымом не пахло. Напрасно усмехнетесь: на буфете стоял кувшинчик с фарфоровыми цветами, так в нем была дырочка, в которую можно накапать духи, и тогда этот неживой букет благоухал на всю гостиную. Да уж, немцы – мастера на все заменители, но это я понял гораздо позже. У них и бензин – какой-то синтетический. Отопление у нас было печное, и уголь – тоже ненастоящий. Во дворе на листе железа аккуратной пирамидой лежали бурые, величиной с кулак, брикеты, спрессованные из угольной крошки и пыли.

Но зато как приятно, выключив свет, сидеть по вечерам в теплой гостиной, отапливаемой суррогатным углем, смотреть на мерцающий фальшивый камин, вдыхать, пусть подложный, аромат искусственных цветов и пить поддельный, но сладкий лимонад из бутылки с белой фаянсовой пробкой и защелкой из толстой проволоки. Нет, честно, тогда для нас это была самая красивая, самая уютная жизнь.

Отчим закупал на неделю ящик пива для себя и два ящика лимонада для нас с мамой. А еще по выходным нам гото-

вили по заказу, из наших же продуктов, самый настоящий большой торт в городской пекарне. За торты мы расплачивались не деньгами, а тем, из чего его делали: маслом, сметаной, мукой, шоколадом и коньяком. То есть попросту давали всего этого больше, чем надо. Заранее скажу, что торты надоели мне через полгода так же, как и зайчатина. До сих пор не могу есть, объелся в детстве на всю жизнь. И победителям бывает худо.

В общем, маме не приходилось ни убирать, ни готовить, ни закупать провизию. Она очень похорошела. Можно было блаженно ничего не делать, ходить в парикмахерскую, в кафе, в пошивочное ателье, в кино, в бассейн или в гости к новым подругам, офицерским женам. Выражаясь современным языком, мы были «новыми русскими» среди «старых немцев».

Посмеиваясь сейчас над родителями, не могу забыть и о том, что в Германии мне тоже, как маме и отчиму, справили кожаное пальто-реглан. Мягкое – и не поверишь, что из кожи, – темно-коричневое пальто, без набивных плеч, с широким поясом. Видели б меня в таком наряде пацаны с нашей улицы в Союзе, вечно щеголявшие в свободных несуразных телогрейках! Наверно, весь город сбежался бы. Но когда я вернулся, никто в обморок не упал. Я вообще его не надевал, да и родители не советовали. А потом я из него вырос, и пальто продали скорняку на всякие кожаные поделки. Думаю, мой реглан вряд ли бы стал носить в то время любой

мальчишка, будь он и сынком генерала.

Даже немцы оглядывались на мое пальто, когда я шел по улице. Как жили сами немцы, повторю, нас совершенно не интересовало. Но мы знали об этом хотя бы потому, что мама частенько давала что-нибудь из продуктов поварихе и горничной, и те униженно благодарили. На все это могу и сейчас лишь пожать плечами – нечего было лезть на нашу страну.

Теперь-то зло на немцев у меня давно прошло, а тогда…

Наша компания

Тот Витька, с которым я всю Польшу, да и Германию до Берлина проехал в вагоне под лавкой, оказалось, направлялся тогда сюда же, в город Н., к своему отцу. Мало того, он жил теперь на моей улочке в похожем доме. Здесь все дома выглядели богатыми, а один из них поражал тем, что в нем была парадная лестница и на площадке перед вторым этажом стояли чучела зверей, а на стене висело старинное оружие и доспехи. Венчал же все рыцарский шлем с перьями.

Мы с Витькой иногда подходили и жадно смотрели в приоткрытую дверь на это богатство. Но схватить хоть что-то мы боялись. Здесь жил пожилой врач, важный господин, говорили, барон. Оно и видно по оружию: фон-барон.

Однажды мы осмелились украдкой подняться на лестничную площадку. Здесь красовалась невидимая снизу чудесная сцена охоты, мастерски сделанная из великолепных чучел: лиса подкрадывается к тетерке с выводком птенцов. А вокруг валуны и бурелом сучьев. Вдруг где-то вверху послышались шаги, и мы скатились по лестнице на улицу.

Вначале нас было только двое друзей. Потом мы познакомились с Георгием, а попросту Жоркой, жившим на соседней улице. Он был постарше, одиннадцати лет. Косой чуб перечеркивал его лоб, и дома, в Союзе, Жорку, наверно, не раз безжалостно обзывали Гитлером. Четвертым в нашей по-

стоянной компании стал Леонид, мы негласно выбрали его предводителем как самого старшего, ему было одиннадцать с половиной, и как сына коменданта города, полковника Боровикова. Боровиковы жили на окраине города в парке, на белой вилле. Леонид был высокий, белобрысый и голубоглазый. «Чистый ариец», – с иронией отозвалась о нем моя мама. Сильный, ловкий и пытливый, он видел нас всех насквозь и угадывал наши мысли. А еще у него был необыкновенный талант рассказывать бесконечные истории о приключениях какого-то благородного, бесстрашного разбойника, якобы взятых из книг, прочитанных когда-то в «детстве», как он пояснял с усмешкой.

Другие русские ребята, обитавшие в городе, были еще малы для нашей компании. Леонид как старожил – он приехал раньше нас – и как человек, близкий к верховной власти, поведал нам, что мы будем учиться в большой русской школе в соседнем городе Р., километрах в двадцати отсюда. И не только мы, но и дети других военных из ближних городков – с первого по десятый класс. А возить нас будут туда на автобусе.

Да, как же я забыл? Пятой в нашу компанию пристроилась Зинка, дочка начальника автороты, жившего на первом этаже в нашем доме. Она, конечно, была настырная, но не это заставляло нас терпеть девчонку. В отличие от нас, остолопов, Зинка прилично знала немецкий язык. «От отца передалось, – хвалилась она. – Он в школе хорошо учился».

Тем самым она, вероятно, намекала, что и наши родители недалеко ушли от нас, такие же олухи. Вот мы и приняли ее в свою компанию, без переводчика мы не могли обойтись, особенно когда у нас началась война с немецкими ребятами.

Два года, прожитых в Германии, сливаются у меня как бы в один месяц, потому что память удерживает только что-то особенное. Интересно, куда деваются пустые, невзрачные, скучные дни?..

Сады и шляпы

Первые наши подвиги начались с набегов на немецкие сады и огороды. Ну, этого нам и на родине хватало. Правда, здесь все проходило по-особому. Мы не скрываясь заходили в облюбованный сад, рвали что хотели, а если появлялись возмущенные хозяева, то отвечали им по-русски такими словами, которые даже в неприличном обществе реже употребляют. Хозяева тут же ретировались.

Сразу за советских нас было трудно принять, хотя, на внимательный взгляд, можно, конечно, отличить: на нас все новое и модное, даже эти неприятные брюки гольф до колен, зато пиджаки у нас, как тогда говорили, «мировецкие»: однобортные, светло-серые, из мягкой стопроцентной шерсти, с широкими лацканами. Немецкие ребята одевались бедно, но опрятно и чисто, все дырки аккуратно заштопаны, а башмаки всегда начищены. И все равно нам неровня. Поэтому, наверно, мы и кричали какой-нибудь выскочившей недобитой фрау: «Разуй глаза, старая карга! Не видишь, кто перед тобой, трам-та-ра-рам?» С раскрытым от страха ртом она поспешно убиралась восвояси. А если появлялся крепкий еще мужчина, то после слов: «Наци, фашист, гестапо, трам-та-ра-рам!» – он еще быстрее любой старухи улепетывал прочь. Вот тебе и хваленые арийцы, ставящие себя выше всех!

Такого унизительного поведения у взрослых людей я ни-

когда не видел и, надеюсь, никогда не увижу. Вероятно, зная о том, что творила их армия в Советском Союзе, да и не только там, они даже через год после войны страшились ответной мести. Кухарка как-то сказала маме – переводил тот же Володька-Вольдемар: «После войны мы боялись, что вы с союзниками выселите весь наш народ – до единого! – куда-нибудь подальше, в Австралию».

А мы, пусть по-своему, все не унимались. Мне и Витьке родители подарили по духовому ружью. Я приходил с ним к другу, и мы удобно устраивались во дворе. У него был замечательно удобный забор для стрельбы по движущимся мишеням. Это была кирпичная стена, над которой нет-нет да и проплывали шляпы прохожих. Мы заряжали наши «духовушки» хвостатыми немецкими пульками, особенно меткими, и поочередно палили по шляпам. Бац! – и шляпы нет, слетела. Обхохочешься. Вбежит через калитку во двор разъяренный немец, а ты его пошлешь по-русски подальше. Он сразу же начнет улыбаться, кланяться и торопливо пятиться обратно на улицу. Очевидно, страшась получить в сиделку новый заряд.

И все-таки родители поймали нас за этим увлекательным занятием и отобрали ружья. А все оттого, что мы с Витькой да еще с Леонидом залпом из трех ружей сбили шляпу у того самого важного врача, фон-барона. И он не побоялся пожаловаться в комендатуру.

– Ну, теперь он нас попомнит! – зловеще произнес наш

вожак Леонид.

Не знаю, что он задумывал. Но через пару дней я рассказал ему о старинном оружии в доме врача. Боровиков-младший сразу загорелся, и мы выступили в поход.

– А чего делать-то будем? – спросил Жорка.

– На месте виднее, – ответил Леонид.

Теперь все это выглядит даже смешным. Боязливо, но решительно – самое точное определение! – мы тогда вошли в дверь, которая днем никогда не запиралась, и вслед за нашим вожаком поднялись по лестнице на площадку. Леонид, словно охотничий пес, замер, завидев чучело лисы, охотившееся на чучело тетерки. И тут вверху неожиданно появился сам врач. Грозно взглянув на фон-барона, Леонид сорвал со стены саблю и, громко крякнув, лихим взмахом начисто отсек лисе голову. Фон-барон ахнул и схватился за сердце. А Леонид, со звоном отбросив саблю, вновь возглавил теперь наш уход, по-прежнему боязливый, но решительный.

Больше врач на нас жаловаться не посмел. Но дверь в особняке стала запираться и днем. Того, что увидал фон-барон, он, вероятно, никогда не видел. Впрочем, и мы тоже. А я-то предполагал, что мы пошли туда за старинным оружием. Просто у Леонида вдруг наступил миг вдохновения. «Наше дело – правое», – как сказал Сталин, чей двухэтажный портрет висел над входом в комендатуру. Знай наших!

А вообще-то есть угрозы и посильнее. Мы ездили с отчимом и с тем самым переводчиком-перевертышем на какое-то

предприятие, подлежащее вывозу. Так там куда-то припрятали ценное оборудование. Оно сразу же нашлось, как только руководству перевели веские слова отчима:

– Тех, кто не дает отправлять станки в Советский Союз, мы отправим туда вместо станков.

Действенная мера!

А между тем нашей компании предстояли серьезные испытания. Ведь помимо взрослых были и немецкие ребята, с которыми мы еще не сталкивались. Оказалось, они нас не очень-то боялись.

С чего начались наши стычки с ними? Сразу после случая в кинотеатре, где мы смотрели картину «Дубровский», то ли дублированную, то ли с субтитрами на немецком.

Я не думаю, что тогда мы в кино покупали билеты. Если уж у себя, в Союзе, всяческими путями пробирались смотреть кино бесплатно, то, вероятно, и здесь делали то же самое. Точно могу сказать, что, когда я ходил в кинотеатр с родителями, мне непременно покупали билет. А когда мы шли сами по себе…

Теперь смутно вспоминается, что мы вроде бы прошныривали в зал через выходящих после сеанса людей. Такого за немцами не водилось, и дежурный тип нас не замечал. А если и замечал, то, конечно, не хотел связываться с «этими русскими мальчишками», себе дороже.

А вот все, что было тогда на «Дубровском», помню отчетливо. Мы удобно устроились где-то в серединке зала и во

время сеанса развлекались вовсю: громко говорили, хохотали, свистели. Впереди Леонида сидел какой-то лысый господин и только поеживался от наших выходок. По-моему, Леонид решил покуражиться перед нами и перед немцами. Мы бы никогда не решились на то, что он сделал, да и мысли такой не возникало. А возможно, тут и другое сыграло: Леонид взвинтился от русского бунта на экране, когда разгневанные крестьяне окружили высокомерного иностранца-управителя, кажется немца, с презрением глядевшего на них.

Леонид в каком-то порыве вдруг смачно плюнул сидевшему впереди господину на лысину, а затем звонко шлепнул по ней ладонью, так что брызги полетели. Уж этого немец не выдержал. Он вскочил и стал что-то кричать, грозно нависая над нами. Его поддержали другие немцы и, встав, тоже нависли над нами, как темные зловещие птицы, и тоже закаркали что-то во все горло. Мы сидели ни живы ни мертвы. Показ прервали, в зале зажегся свет, и дежурный по залу привел полицейского, рослого мужчину в форме и высоком черном шлеме, обтянутом материей, с металлическим гербом города и выбитой на нем надписью «Stadtpolizei». Я знал от старлея, что в полиции служит немало прежних полицейских. Они безропотно явились в 1945-м, когда их призвали на работу победители.

Полицейский мрачно выслушал жертву хулиганства и гомонящих соседей. Поглядел на нас, мы подавленно молчали, лишь Леонид пробормотал:

– А чего он тут… – и все, тоже умолк.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.